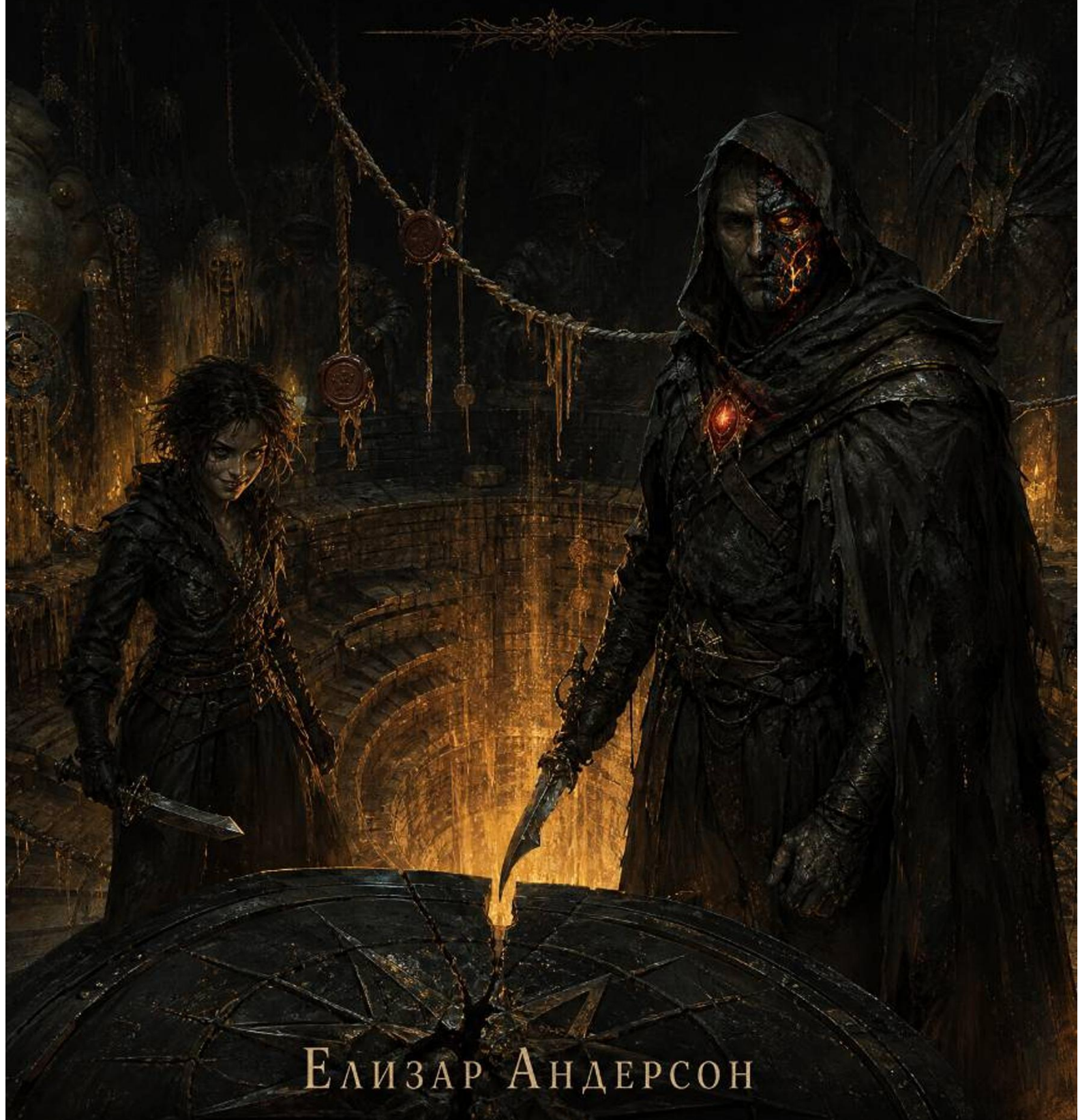


СОРОК ВОСЕМЬ ПЕЧАТЕЙ



Елизар Андерсон

Сорок восемь печатей

«Автор»

2026

Андерсон Е.

Сорок восемь печатей / Е. Андерсон — «Автор», 2026

В Империи Мора знать век назад заключила союз с древними богами и заплатила за него первенцами. Кайр Моррен — первенец, которому Договор соскользнул: Голодные забрали его тело по кускам, но не забрали целиком. Теперь он кузнец собственной плоти: собирает своё тело обратно, орган за органом, убивая по одному богу за раз. Его единственный спутник — болтливая воровка Весса Доун, которая когда-то сама привела к Колодцу собственного брата. Когда до последней печати останется один шаг, Кайр узнаёт, что сердце — последняя часть его тела — бьётся в груди человека, которого он успел полюбить. И что через восемьдесят лет Договор проголодается снова.

© Андерсон Е., 2026

© Автор, 2026

Елизар Андерсон

Сорок восемь печатей

ЕЛИЗАР АНДЕРСОН
СОРОК ВОСЕМЬ ПЕЧАТЕЙ
ФЭНТЕЗИ

«Один ребёнок — и тысяча детей будет жить»

2026

АННОТАЦИЯ

В Империи Мора знать век назад заключила союз с древними богами и заплатила за него первенцами. Кайр Моррен — первенец, которому Договор соскользнул: Голодные забрали его тело по кускам, но не забрали целиком. Теперь он кузнец собственной плоти: собирает своё тело обратно, орган за органом, убивая по одному богу за раз. Его единственный спутник — болтливая воровка Весса Доун, которая когда-то сама привела к Колодцу собственного брата. Когда до последней печати останется один шаг, Кайр узнаёт, что последняя часть его тела — сердце — бьётся в груди человека, которого он успел полюбить. И что через восемьдесят лет Договор проголодается снова.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ. «Год Сорока Восьми»

АКТ ПЕРВЫЙ. «СОБРАННЫЙ»

Глава 1. «Золото, которое не пахнет»

Глава 2. «Правило трёх ударов»

Глава 3. «Ходы, которых нет на картах»

Глава 4. «Печник у дверей печи»

Глава 5. «Вниз»

Глава 6. «Колодец дома Вейл»

Глава 7. «Воровка звучит издалека»

Глава 8. «Вторник всегда»

Глава 9. «Честная очередь»

АКТ ВТОРОЙ. «ЧУЖИЕ ЖИЗНИ»

Глава 10. «Дороги Империи»

Глава 11. «Последняя страница»

Глава 12. «Лада»

Глава 13. «Закладка, а не дверь»

Глава 14. «Сорок лет узла»

Глава 15. «Город масок»

Глава 16. «Кузня платит по счетам»

Глава 17. «Вертикальная ночь»

Глава 18. «Лишняя страница»

Глава 19. «Город без тайн»

Глава 20. «Одна страница»

Глава 21. «Плата за вопрос»

Глава 22. «Лес стёртых»

Глава 23. «Обе страницы»

АКТ ТРЕТИЙ. «ГОД СОРОКА ВОСЬМИ СНОВА»

Глава 24. «Хлеб для ямы»

Глава 25. «Союз обновляется»

Глава 26. «Сорок девятая»

Глава 27. «Струна сорок девятая»

Глава 28. «Инструменты»

Глава 29. «Сдача»

Глава 30. «Кость»

Глава 31. «Пять узлов»

Глава 32. «Яр»

Глава 33. «Рассвет без Договора»

Глава 34. «Новые доски»

ЭПИЛОГ. «Год спустя»

ПРОЛОГ

«Год Сорока Восьми»

Год перед Годом Сорока Восьмым Империя Мора умирала не с грохотом — с тишиной.

Тишина эта приходила в деревни первой: переставали скрипеть колыбели. Роды у жён мужичьих шли как положено — кровь, крик, жизнь, — а у жён дворянских, у тех, чьи дома стояли на Договоре ещё до Договора, дети рождались мёртвыми или не рождались вовсе. Врачи-летописцы, которых гнали из губернии в губернию императорским гонцом, писали равнодушным почерком: «причина неизвестна». Крестьяне, которых не спрашивали, знали причину: небесная казна пуста. Земля кормит того, кто платит, а дворяне, видите ли, триста лет платили не по счетам — чужими войнами, чужим потом, чужими детьми нижнего города, которых покупали без бумаг. Счёт пришёл. И вместе с ним пришли другие вёсны: хлеб чернел в амбарах — не весь, ровно тот, что лежал в дворянских закромах; реки вставали столбом — не зимой, осенью, и стояли так, гладкие, как стекло, пока рыба не шла на дно; и чума, старая знакомая Империи, вернулась после сорокалетнего перерыва и начала со двора дома Вейл, где она когда-то кончилась.

В столице решили за месяц.

Эрро Моррен узнал об этом решении в ночь, когда жена, третью ночь не спавшая от тихой, вежливой лихорадки, схватила его за запястье и сказала: «Сегодня». Он побежал за повитухой сам, через весь спящий дом, босой, и дом проснулся, и вся родня прибежала, и всех прогнали — роды у Морренов, как и всё у Морренов, шли согласно книге, а книга говорила: первенец рождается при отце одном.

Ребёнок родился к рассвету. Мальчик. Тихий — не заплакал, даже когда перевернули, даже когда ударили по спинке: лежал, разглядывая мир глазами цвета неба над зимним полем, и мир, казалось, его устраивал. Жена, бледная, как свечной воск, прошептала единственное, что смогла: «Смотри, какой он целый». Целый. Это слово Эрро унёс с собой в кабинет, где на столе лежало письмо от старшины Вейл, и в письме было четыре слова: «Договор найден. Идите к нам».

Договор нашли не в книгах. Жрецы дома Вейл — их поколение вело летопись ям — нашли его в родильной яме своего дома, где она дышала восемьдесят лет без корма: на дне, под слоем воска трёхвековой давности, лежала кость. Ребро. Высеченное на нём, мелкими, ровными буквами, стояло соглашение между Сорока Восемью домами и Теми-Кто-Под-Землёй — текст, который никто не писал и никто не подписывал, и который жрецы прочли по слогам, как читают чужой почерк. Цена была проста, как всё, что платят не деньгами: первенец каждого дома — в яму, в первый мороз Года. В обмен — роды пойдут, хлеб встанет, реки

лягут. Отказавшийся дом стирается. Имя, яма, люди — стираются целиком, «как пишущий стирает строку».

Сорок восемь домов спорили три недели. Потом у дома Вейл умер первенец — мёртво-рождённый, третий за год, — и споры кончились. Отказавшихся не нашлось. Нашлись те, кто торговался — внесли поправку: в обмен за принесённого Договор продлевает роду долголетие. Хранитель, что будет читать имена, живёт вдвое дольше положенного, «пока служит». Это показалось всем справедливым. Детей у дворян всегда можно завести ещё.

Эрро пришёл к Вейлам в полдень и прочёл проект Договора молча, дважды. Он был молодым главой дома — тридцать один год, голова, полная цифр и строений, — и цифры у него сложились быстро: один ребёнок против тысяч, что умирали каждый месяц этого года. Честная цена. Он поверил в неё сразу, горячо, с облегчением — потому что ждать ребёнка, зная цену, и не верить в цену было бы невыносимо. В ту же ночь жрецы Вейлов, те самые, что вели летопись, вызвали его наедине. Старшая жрица, сухая, как страница, сказала то, чего не было в проекте: Договор старый. Он уже служил до них — кому-то до них, давно; и три раза за историю летописи он «соскальзывал» — год такого соскальзывания жрецы называли годом трещины. Ребёнок, зачатый в год трещины, — риск: Договор может принять его не целиком. «Не откладывайте, — сказала жрица. — Но знайте: ваш сын зачат в год трещины. Мы видели это по звёздам». Она не стала говорить, что делать с таким знанием. Жрецы никогда не говорили, что делать — они говорили, что будет, а дворяне умеют не глядеть.

Эрро вернулся домой и не сказал жене ничего.

А потом был Год Сорока Восьмого, и песня жриц шла впереди него — низкая, без слов, одна нота, потягиваемая, как жгут через огонь. Эрро шёл за певчими и считал шаги, потому что считать было легче, чем думать.

Двести шагов от двери дома до ворот. Четыреста — по улице Плавильщиков, где горожане встали на колени на мостовой и не смотрели вверх, потому что смотреть вверх было правом старших. Сто двадцать — по лестнице, высеченной в чёрном камне. Дальше камень кончался, и начиналась земля, мягкая, как губы. У ворот ямы стояли старшины сорока восьми домов — ровно сорок восемь, и у каждого в руках или в охапке, в корзине, на поводу — первенец. Дети не плакали: им всем, без исключения, сказали, что это честь. Дети верят в честь дольше, чем во что бы то ни было.

Ещё девяносто шагов — вниз. Спираль жертвенной ямы сжималась вокруг него, как горло, и свет факелов шёл вверх по винту, и на каждом витке спираль проходила мимо старых выбоин — следов от вёдер, от колен, от ногтей, и Эрро думал: восемьдесят лет назад, сто лет, триста — кто-то уже спускал сюда детей, и земля это помнила, и мягкая земля пахла тем, чем пахнут все старые ямы: медью и старым мёдом.

— Храни Договор, — сказал старшина Вейл, когда Эрро обошёл его на последнем витке. Голос у старшины дрожал от радости. Они все дрожали. Восемьдесят лет назад, когда роды у дворянских жён начали умирать, когда хлеб чернел в амбарах и реки вставали, как столбы, — тогда дрожали от страха. Теперь, в Год Сорока Восьмого, дрожали от счастья. Цена найдена. Цена честная. Один ребёнок — и тысяча детей будет жить.

Эрро держал свёрток у груди. Сын. Первенец. Ещё вчера у него было имя — имя выбрала жена, пока лежала, и произнесла один раз, только отцу, шёпотом, как произносят то, что принадлежит только вам двоим. Имя он не произнёс вслух ни разу, с той минуты. Он говорил себе: это оберег. Имя — это ручка, за которую душу держат. Не назову вслух — и уйдёт только тело.

Один ребёнок, — говорил он себе на каждом шаге спирали. — Один ребёнок, чтобы тысяча других жила. Я не убийца. Я плачу за всех. Я не загляну вниз. Загляну — и не смогу отдать. Не отдам — и умрут тысячи. Это счёт, а не жестокость. Счёт всегда честнее жестокости.

На дне ямы ждали Голодные.

Их не было видно — их не было видно никогда, потому что они не являются в своём виде, они являются в виде того, чего им не хватает, — но они были слышны. Яма дышала. Воздух в ней стоял тёплый, влажный, со вкусом меди и старого мёда, и с каждым выдохом ямы пламя факелов ложилось плашмя, хотя ветра здесь, под землёй, быть не могло. Дыхание было размеренное, не спешное, сытное — дыхание того, кого ждали и кто привык, что ждут.

Жрицы замолчали. Последняя нота сошла вниз, в темноту, и темнота её приняла — благодарно, Эрро почувствовал это кожей: приняла, как рот принимает хлеб.

Старшина поднял руку. Эрро сделал последний шаг, опустился на колени у края Колодца и положил свёрток на камень, вытянутый над бездной, — камень был тёплый, как живое тело, и рука Эрро, привыкшая к чертёжным доскам и холодным перилам, вспомнила вдруг, что значит тепло, и не захотела убираться.

— Именем дома Морренов, — произнёс старшина, — по Договору Сорока Восьми домов —

— По Договору, — выдохнули жрицы.

— Отдаём, что нашёл, — чтобы получить, что нужно.

Эрро развернул полотно.

Ребёнок не закричал. Он никогда не кричал — тихий был, с рождения тихий, будто уже знал про цену и молчал из жалости к отцу. Он смотрел на Эрро глазами цвета неба над зимним полем, и Эрро, прежде чем отнять руки, успел подумать: прости. И подумать: я запомню. Я буду помнить всё — не глядя, я умею, — и это будет моей платой, платой сверх Договора: я никогда не забуду, что сделал. И он знал, даже лёжа лицом в этом решении, что ложь эта ему понадобится всю жизнь.

Яма вдохнула.

Камень под ребёнком дрогнул. И тут — потом врачи-летописцы, собиравшие свидетельства старейшин, напишут страницу, другую, третью, так и не поняв, что записали, — Договор соскользнул.

Позже Эрро раз десять пытался объяснить себе, что он видел. Ничего не выходило. Слов не было, и он, человек цифр, пришёл к выводу, что слов нет потому, что соскальзывание — не событие, а ошибка счёта: Голодные брали — не спеша, как берут угощение, — и брали по кускам, как положено, печать к печати. Сначала то, что слушает. Эрро видел, как темнота у колыбели стала тоньше на один кусок, и слух — тот, что вот-вот научился бы различать голос матери — ушёл в яму. Потом то, что хватает: левые кисти, пальцы, до второго сустава. Потом то, что шагает, то, что греет кровь. Каждый кусок брался бережно, деловито, как забирают залог, — и каждый раз камень под ребёнком гас и грелся снова, принимая. Эрро стоял на коленях и считал, потому что считать было легче, и счёт его был: четыре, пять, шесть, семь.

А потом, в ту долю дыхания, когда Колодец должен был взять остальное — взять всё, забрать душу целиком, как забирал у сорока семи домов до Морренов и будет забирать у сорока семи после, — яма остановилась.

Остановилась — и отпустила. Как останавливается считающий, которому на палец попало что-то неучтённое: не отказ, не жестокость — сбой. Строка соскользнула с пальца и легла криво.

Камень опустел. Факелы вспыхнули ровно, как ни в чём не бывало. Жрицы запели финальное благословение, старшина заплакал, обнимая Эрро, — и оба вышли наверх, на встречающий их рассвет, на крики «храни Договор!», на пахнувший наконец хлебом город, на тысячу жизней, которые теперь, по обету, должны были случиться. Старшина объявил восьмидесятилетие мира. Эрро улыбнулся. Он уме не глядеть — родовой дар, — и он не глядел: ни вниз, ни в себя.

А в темноте ямы, на девяносто шагов ниже утра, среди камня, что был тёплый, как живое тело, — что-то осталось.

Осталось дышать.

Эрро услышал это на верхней ступени. Он уже стоял в свете, уже улыбался под рассветным небом, уже принимал рукопожатия — и услышал. Очень тихо. Снизу, из темноты, из жёлтого тёплого камня: вдох. Выдох. Вдох. Ровное, упрямое, маленькое дыхание — без слуха, без кистей, без лёгкого, но дыхание. Жёлтый камень принял остаток и не отдал: соскользнувшая строка легла между ямой и ребёнком, и часть его осталась лежать на камне, как остаётся лежать монета, которую не забрали, потому что не нашли, куда причислить.

Эрро стоял очень долго. Руки его помнили тепло камня. За спиной пели жрицы, и он думал: спуститься — и всё кончено. Спуститься — и надо будет забрать его, а забрав его, надо будет вернуть плату, а плату уже приняли, а отданное не возвращается. Спуститься — и он узнает, жив ли; и если жив — что жить тому, у кого нет половины тела? Не спуститься — и он никогда не узнает.

Он сошёл с лестницы, сел в карету и ни разу — ни в тот день, ни через год, ни через восемьдесят лет — не заглянул вниз.

Тысяча детей жила. Он всю жизнь будет приносить хлеб к яме и не есть его сам.

АКТ ПЕРВЫЙ. «СОБРАННЫЙ»

Глава 1

«Золото, которое не пахнет»

Утро в нижнем городе Сольвейна Весса Доун начала с кражи, как и положено начинать утро честному человеку.

Почтовый чиновник, у которого она сняла кошелек между третьим и четвёртым звоном колокола, даже не почувствовал: Весса воровала пальцами, которым когда-то учили вязать сети, — пальцы эти умели щупать карман так, как слепые щупают лица, и кошелек, содержащий, по весу, серебро семь и медь несчётную, перешёл из его кармана в её рукав между словами «прошу прощения» и «увы, господин». Чиновник пошёл дальше, довольный собственной важностью. Весса свернула в переулок, развязала кошелек, оставила себе три меди, остальное завернула в тряпицу и сунула за камень у водостока — таков был уговор с крысами нижнего города: клан берёт своё, а камень у водостока кормит тех, кого клан не заметил. Сорок лет этот камень кормил сирот. Весса узнала о нём от матери, мать — от бабки. Воровство в доме Доун передавалось не по крови, а по камням.

— Госпожа Доун, — сказал из тени мальчишка лет восьми, худой, как щепка, с глазами старшины. — Клан вас спрашивает. Старший брат хочет видеть до полудня.

— Скажи старшему брату, — Весса отряхнула рукав, — что его желания для меня закон, но закон этот я исполню после обеда, с должным торжеством.

— Он сказать велел: «До полудня. Или братская любовь кончается».

Весса посмотрела на мальчишку повнимательнее. Такие фразы старший брат отпускал не просто так — значит, в кассе клана что-то гремело. Двенадцать серебряных, что лежали в сейфе дома после смерти матери, — не её, но её — на них держался весь нижний квартал: долги, взятки стражникам, хлеб для шести ртов клана в неурожайные недели. Старший брат — дядя Кольт, сухой, седой, с лицом человека, который тридцать лет ждёт, когда можно будет выдохнуть, — умел держать кассу, но не умел её наполнять. Наполняла её Весса. И дядя Кольт, между прочим, знал это, и именно поэтому терпел её манеры.

— Буду к одиннадцати, — сказала она мальчишке и дала ему медь. — А теперь ступай. И шею прикрывай, ветер с гавани, проморозишь — я тебе не сестра.

Мальчишка исчез, не коснувшись земли дважды, и Весса пошла по своим утренним делам — потому что утро, начатое с кражи, надо продолжать делами, иначе день рассыплется.

Сольвейна пах в это утро тремя вещами: селёдкой, смолой и чужими деньгами. Портовый город стоял на трёх холмах вокруг гавани, и каждый холм имел своё дыхание: верхний

— дворянский, пах розовым маслом и старой пылью; средний — торговый, пах кожей, кофе и трутом; нижний — её, родной, пах селёдочными бочками, сырой верёвкой и дешёвым табаком. Весса Доун за двадцать два года научилась любить все три запаха, но деньгами — по-настоящему, страстно, как любят только нижний город и стервятники. Деньги имели запах. Деньги имели вес. Деньги, оставленные без присмотра, издавали звук, который слышали только такие, как она, — тихий, звенящий зов, и она шла на него, как идут на колокол.

Она прошла мимо «Трёх якорей» — дохлой таверны, где дохлые капитаны нанимали дохлые команды на дохлые суда, — и её сердце, натренированное воровское, дёрнулось: на карнизе над входом, там, где она обычно сидела, кто-то сидел. Не кто-то. Её место. Весса не делила места. Она вошла в таверну через заднюю дверь, прошла по лестнице, встала в тень у окна и посмотрела на сидевшего: крысавый мальчишка-вестник, её собственный, третий звеном в цепи нижнего города, и он смотрел не на улицу, а в зал, и лицо у него было такое, какое бывает у вестников, когда весть большая — бледное, распахнутое.

Весса спустилась по водосточной трубе так же бесшумно, как сидела на карнизе, и встала рядом с ним.

— Чистое? — спросила она, не здороваясь. Разговор у них был свой, короткий, как счёт.

— Чистое, госпожа Доун, чистое, как слеза девственницы, — мальчишка не обернулся, привычный. — Без клейма, без опилок, без запаха. Он кладёт его на стол — и спрашивает.

— О чём спрашивает?

— Про старые ямы. Про жертвенные. Где были — где теперь засыпаны. — Мальчишка сглотнул. — И про дом Вейл. Про родильные покои.

Весса перестала улыбаться. Улыбка у неё была профессиональная, воровская, и она обычно висела на лице, как висит фонарь на крюке — пока не сдует. Теперь сдуло.

Нижний город не говорил о Колодцах вслух. Это было первое правило, старше всяких правил клана: мысли имеют вес, а тяжёлое тонет. Кто спрашивает про ямы — тот либо писарь Империи с бумагами и охраной, либо безумец, либо... либо тот, про кого шептались последние три года, когда гасили свет. Охотник. Тот, что ходит за ними вниз. Тот, что возвращается.

— Где он сейчас? — спросила она.

— У мостовой. Идёт к сухому доку. Один.

Один. Весса мысленно поцеловала безымянного бога нижнего города — того, что отвечает за двери, которые не заперты. Она бросила мальчишке медь, сказала «молчок», и он исчез — и тут же вернулся, потому что вестники не уходят, пока весть не договорена:

— Госпожа Доун. Карп говорит — он платил троим. Троим уже. Всем золотом. Всех спрашивал одно и то же.

— Знаю, что спрашивал.

— И ещё Карп говорит: тот, второй, что у причала чинил снасти, потом всю ночь не спал. Боялся. Говорил — он видел у него руку. Под перчаткой. — Мальчишка помолчал и добавил то, что вестники добавляют, когда весть перевешивает страх: — Я сам не видел. Но Карп не врёт. Карп вообще не умеет.

Весса сидела на карнизе и смотрела в порт, где между мачтами уже начинался вечерний свет — длинный, янтарный, ложающийся на дохлый Сольвейн, как ложатся деньги на стол. Она составляла план, который ей предстояло горько полюбить за следующие полчаса.

Правило первое, высеченное на ноже её брата: не грабь того, кто платит золотом без клейма. Золото без клейма — это золото, за которым кто-то придёт. Правило второе, которого не было на ноже, но которое было в глазах клана: золото охотника, что спрашивает про ямы, — это не золото. Это приговор.

Весса знала оба правила. Весса собиралась их нарушить, потому что правило третье, единственное настоящее, звучало так: в доме Доун после смерти матери осталось двенадцать

серебряных и один голодный рот, и рот этот — её собственный. А дядя Колт ждёт к одиннадцати, и касса не наполняется сама.

Нож лежал у неё за поясом, в промасленных ножнах. Она привычно, языком мысли, проверила его место — так она делала каждый час тринадцать лет, так часто, что давно перестала замечать. Нож был тупой. Она не точила его тринадцать лет — суеверие, воровское, суеверие её собственного изобретения: нож брата не должен резать, пока брат не вернётся сам и не возьмёт его в руки. Она знала, что это бессмыслица. Она суеверно не точила.

Она пошла по крышам вслед за тенью три квартала. Тень шла по улице — Весса, над улицей: так охотились её люди, так охотились три поколения Доунов, переправщиков детей. Дом Доун зарабатывал тем, что водил: детей из приёмных домов к Колодцам, деньги из чужих рук в свои, тишину из нижнего города в книги писарей. Честная работа, говорил дядя Колт. Работа, за которую платят, потому что без нас всё равно кто-нибудь другой поведёт — и поведёт хуже. Весса выросла на этих словах, как растут на хлебе, и первую переправу провела в девять лет — куклу. Учебную. Колодцу куклы не нужны, но клану нужны были пальцы, знающие дорогу.

Тень остановилась у ворот сухого дока. Весса легла на трубу за его спиной и смотрела.

Сухой док пах селёдкой сильнее всего порта. Здесь кончался Сольвейн: за чугунными воротами — причалы, за причалами — чёрная вода гавани, а над гаванью, на скале, — старый родильный дом Вейлов, давно закрытый, давно покинутый, говорили бумаги. Говорили также — шёпотом, в темноте, в нижнем городе, — что закрыт он не потому, что Вейлы разорились, а потому, что роженицы, заходившие туда в последний его год, рожали не совсем то, что носили. Дом Вейл держал родильные покои тремя этажами: первый — для бедных, второй — для тех, кто платил серебром, третий — тот, о котором не говорили. Теперь все три этажа темны, окна забиты досками, и над скалой висит не тень даже — дыра в вечеряющем небе.

Тень встала у ворот. Постояла. Огляделась — медленно, по сторонам, как оглядываются не люди, а вещи: маятник, весы, прицел. Не оглядка головой: оглядка всем корпусом, экономная, без лишнего движения. Весса видела такое у контрабандистов и у стражников, побывавших в войне. Потом тень сняла правую перчатку.

Весса смотрела и не дышала.

Рука — от плеча до локтя — была человеческой. Мужская, сильная, с узлами вен на предплечье, и кожа на ней была загорелая, рабочая. Ниже локтя — нет. Кожа сливалась с чем-то тёмным, гладким, с прожилками, похожими на застывшую смолу, только смола не дышит, а это дышало: она видела, как прожилки, едва уловимые, вздрагивают в такт дыханию. Пальцы сгибались чуть угловато, как пальцы у хорошей куклы — суставы, сработанные не вполне людски, — и от всей руки исходило тепло. Весса чувствовала его с трубы, через двадцать шагов, сквозь селёдку и смолу: тепло печки, в которую давно не подкладывали, но которая не остыла.

Тень достала из-под плаща клинок — короткий, вроде тех, что носят землемеры, — воткнула его в щель между камнями у ворот, ритуально, точно, как ставят свечу, и произнесла. Голос был тихий, шёпотный, кованный, и от этого хуже, чем если бы кричала:

— Знаю, что ты здесь. Выходи.

Весса не вышла. У Вессы было воспитание. У Вессы также было профессиональное мнение о людях, которые знают, что ты здесь, — такие люди либо блефуют, либо знают на самом деле, и в обоих случаях выходить им навстречу одинаково не стоит. Она лежала на трубе, сжимая в мыслях расстояние до карниза, до улицы, до двора, где её ждали ножи клана — и считала. Двести серебряных в сейфе — не её. Двенадцать — её, но их нет. Золото без клейма — вот оно, вкопано в камень ворот, без присмотра, с приглашением. Правило первое, — сказал голос брата, тринадцать лет говоривший этим голосом.

Тень подождала, пожала плечами — и пожатие это, увиденное сверху, у Вессы заняло отдельную кладовую в памяти: люди нежимают плечами, когда знают, что за ними наблю-

дают. Люди пожимают плечами, когда им всё равно. Тень пошла дальше, в док — к люку в полу, к лестнице, что уходила под землю, к старым ямам, о которых нижний город не говорил вслух. Клинок остался в щели. Плащ слился с темнотой.

Весса сидела и считала. Потом спустилась по трубе, пересекла улицу, ступила на мостовую дока —

— Ой, — сказал кто-то позади. — А вот и зайка.

Сольвейн былдохлым городом, но ножи в нём, как всюду, были острые. Их было четверо — гаванышники, судя по наколкам: якорь, якорь, змея и якорь. Тот, что со змеей, держал Вессу за капюшон, как котёнка, и пах от него тем самым дешёвым табаком, которым пах весь нижний город.

— Мы за тобой три квартала, зайка, — ласково сказала змея. Змея была женщиной — Весса узнала это по рукам, когда её развернули. — Ты за жирным ходила. Мы тоже за жирным ходим. Теперь поделись: что ты о нём знаешь?

А вот теперь всё, — подумала Весса с прозрением, на которое она имела полное право. — Вот теперь начинается вечер.

Она быстро оценила: четверо, два ножа видны, у змеи — дубина за поясом, у четвёртого — обрез в рукаве, судя по выпуклости. Она одна, нож за поясом тупой, клан в трёх кварталах, дядя Кольт ждёт к одиннадцати. Азарт — вот что у неё было вместо мужества, и азарт этот, вместо того чтобы замереть, зашевелился, как шевелится рука у игрока, которому сдали пару тузов.

— Знаю, — сказала она гаванышникам своим самым сладким голосом, разворачиваясь в захвате снизу, кистями вниз, как её учили выскальзывать, — что вы его не тронете. Потому что вы — умные. Правда, змейка?

Змея улыбнулась и ударила её головой о ворота.

Белое пламя прошло перед глазами, потом темнота, потом звёпот, как в раковине. Весса висела в чужих руках и думала, отчётливо, с холодной яростью человека, которого ударили впервые за год: вот и весь вечер. Вот и вся охота. Вот и золото, которое само шло в руки, — а она, Весса Доун, вместо того чтобы взять его, влезла в чужую разборку, потому что четверо гаваньских мясников тоже следили за тенью, и следили дольше, и им, видите ли, тоже не помешало бы золото.

— Очнулась, зайка, — сказала змея. — Хорошо. Теперь давай по порядку. Что он тебе заплатил? Что он спрашивал? И где он сейчас — ты ведь видела, куда он пошёл?

— Видела, — сказала Весса. Губы разбиты, речь шипит, но она всё равно нашла в себе сладость, потому что сладость была всё, что у неё осталось. — Он пошёл туда, куда вы не пойдёте. Ни за какое золото. Он пошёл к яме, змейка. К настоящей. И если вы пойдёте следом — вам там скажут спасибо, съедят и не подавятся.

Гаванышники переглянулись. Во взглядах у них было то, что бывает у людей, услышавших слово, которое они боялись услышать.

— Врёт, — сказал один из якорей, но без уверенности.

— Проверим, — сказала змея. — Поищем у неё, что он платил. А потом пойдём к этой яме — а ты, зайка, пойдёшь первой. Как разведчица.

Весса почувствовала, как руки, державшие её за капюшон, потянулись к её поясу — к ножнам, к тупому ножу, который она не точила тринадцать лет, — и что-то внутри неё, последнее, что оставалось от спокойствия, сломалось.

— Не трогай нож, — сказала она тихо. — Это не для тебя.

— А вот посмотрим, для кого он, — змея рассмеялась и выдернула нож из ножен.

И тут — Весса потом не могла вспомнить порядок: то ли сверху открылась дверь люка, то ли она просто поняла, что люк открыт, потому что тень, уходившая в док, стояла теперь у ворот, а клинок землемера, что был воткнут в щель, лежал у неё в рукаве — её собственном

рукаве, и она даже не видела, как он туда попал, — а четвёртый якорь, тот, что держал обрез, лежал на земле и скулил, глядя на собственную руку, которая теперь сгибалась не в ту сторону.

Тень стояла между Вессой и гаваньщиками, и Весса, наконец, увидела её целиком: высокий, узкий, весь в тёмном, с капюшоном, съехавшим набок, — и лицо. Левую половину лица, освещённую фонарём на воротах: кожа тоньше, чем надо, шрам, идущий от виска к челюсти, тёмный шов за ухом, и глаз — левый глаз серый, как правый, но в нём не отражался фонарь.

— Охотник, — выдохнула змея — и сделала единственное умное за вечер: попятилась.

Трое других решили иначе. Люди редко верят глазам, если глаза говорят неудобное; они верят рукам, а руки говорили: четверо, один, дубина. Весса увидела замах, увидела, как тень выходит из-под удара, не уклоняясь — просто стоя в другом месте, — увидела один удар, от которого дубинщик согнулся и сел, удивлённо глядя на собственное дыхание, и второй — молниеносный, экономный — после которого ножник остался с двумя пальцами на правой руке вместо пяти. Змея и оставшийся якорь бросились врассыпную, и Весса осталась стоять посреди дока, с тупым ножом брата в чужой ладони, с разбитыми губами, перед человеком, который поворачивался к ней медленно, как поворачиваются весы.

Она не закричала. Она не побежала. Она сделала единственное, что умела делать в любой кассе пустой: заговорила.

— Ну что, — сказала она, вытирая губу и глядя на него снизу вверх, азартно, — помогать мне будешь?

Человек смотрел на неё. Взгляд — оценивающий, но не тот оценивающий взгляд, к которому она привыкла: не цена. Что-то другое. Он подал ей нож — рукояткой вперёд, вежливо, как подают оружие в дуэлях, — и она взяла его. Нож лёг в ладонь тяжело, знакомо, тупой, как и был.

— Весса Доун, — представилась она. — Воровка. Ты, я слышала, — охотник. Веришь ли ты, гражданин, в судьбу?

— Нет, — сказал человек. Голос — тихий, шёпотный, и от этого, повторимся, хуже.

— А зря. Потому что судьба у нас с тобой на десерт. — Она указала ножом вниз, в люк, откуда тянуло теплом и сладостью, которую она не решалась назвать вслух. — Ты туда. За ней. За той, которую нижний город называет Хозяйкой и боится называть Утробой. Я знаю тайные ходы — все ходы этого города, каждый чёртов кирпич. А ты знаешь, как снимать печати. — Пауза. Глаза — карие, живые, с азартом ставок, которые нельзя проиграть. — Сделка: я провожу тебя к ней так, что она не услышит, как мы пришли. А ты, когда вернёшь себе... — она обвела рукой его тёмную половину, собранную, шрамированную, дышащую теплом печки, — всё, что твоё... сможешь мне с одним делом.

— Каким?

— Моим братом, — сказала Весса Доун легко, по-новгородски легко, и только костяшки пальцев, сжимавших рукоять, побелели. — Его увели к Колодцу тринадцать лет назад. Я знаю, что он жив. Хочу его вернуть.

Человек смотрел на неё долго. Весса знала эти взгляды — первый: страх, второй: цена. У него было что-то третье. Он, казалось, слушал — не её: что-то за ней, внутри неё, под её голосом. Она напряглась, воровка, привыкшая к тому, что её слушают только она сама.

— Жив, — повторил он шёпотом. — Кто тебе это сказал?

— Никто, — сказала Весса. — Я сама решила.

И добавила, потому что пауза становилась слишком длинной и с длинными паузами в этом вечере уже была одна беда:

— До одиннадцати мне надо к дяде. Так что решай быстрее, гражданин охотник. Я не вся дешёвая, но сегодня — по случаю открытия кассы — уступлю.

Человек наклонил голову набок — жест, который у него вышел угловатым, почти птичьим, — и Весса вдруг поняла, что он улыбается. Левым уголком рта. Одним уголком, потому что только один уголок рта у него был настоящий.

— Идём, — сказал он и первым спустился в темноту, к тёплому меду.

Весса стояла у люка одна — и понядала, что стоит у края самой большой кражи в своей жизни. Она кивнула сама себе, воровскому обычаю, перекрестилась на безымянного бога дверей, которого уже благодарила сегодня, и пошла следом, и тупой нож лёг ей под рёбра холодом, как ложится монета, которую копили тринадцать лет.

За её спиной, на мостовой дока, гаваньщики утаскивали своих скулящих. Верхний город зажигал окна. На скале темнел закрытый родильный дом Вейлов, и никто из живущих не знал, что он просто спит. А у Вессы Доун в кармане не было ни одной лжи, заготовленной на случай, если охотник спросит про брата ещё раз — и это её пугало больше ямы.

Глава 2

«Правило трёх ударов»

Тёмные лестницы походили друг на друга, как родня: одна нога впереди, камень под ногой, запах. Кайр Моррен спускался по лестнице под Сольвейн и наслаждался тишиной — последний раз в ближайшие часы.

Наслаждался — слово сильное. Он бы сказал точнее: использовал. Тишина была рабочим инструментом, как клинок или узел, и он использовал её, пока она была, так, как печник использует жар, пока жар не ушёл в кладку. Через час, максимум два, здесь будет громко. Громко — это мягко сказано.

Здесь пахло мокрым камнем, плесенью и — глубже, тоньше, под этими бытовыми запахами, как под одеждой тело — тёплым, сладковатым, как подогретый мед. Хозяйка Утроб жила под Сольвейном лет сто, а может, все восемьдесят с гаком, с Года Договора, и за это время научилась не прятаться совсем. Прятаться — для тех, кого могут прогнать. Её не прогнали бы и король с армией, потому что король с армией не полезет в родильную яму — а она, между прочим, и есть родильная яма, вся целиком: тёплая, сытая, прибранная, ждущая рожениц. Она не пряталась. Она просто не горела огнями.

Кайр шёл по ступеням и вёл счёт. Счёт был его молитвой, сном, забавой и работой — правые кисти, четыреста лет ковавшие чужой ритм, считали сами, без его воли: ступени, капли, удары сердца в груди воровки, что шла за ним по пятам с той самой минуты, как спросила про брата. Сорок два удара в минуту — спокойна. Лжёт — будет девяносто. Он знал уже, как она лжёт: ровным голосом и разбегающимся сердцем. Это было почти честно. Он сам лгал иначе: не выходя из ритма.

Правила. У него были правила, и он повторял их про себя на спусках, как чужие молитвы — слова знакомые, смысл утёртый пальцами.

Правило первое: печать снимается только у Колодца. Залог, взятый у Голодного, нельзя приживить в поле, в дороге, в спешке — только на жёлтом камне, в месте, где Договор помнит эту печать. Значит, бой — не весь поход, а половина его: сначала отнять у Хозяйки её залог, потом довести его через город, потом яма. Каждый этап — отдельный счёт.

Правило второе: убийство Голодного возвращает его орган-залог. Он знал это по двум первым — по Вдовьему Плачу, что выла в соседней губернии и не убивал никого, а овдовевал всех; и по Тому-Кто-Помнит, о котором он знал пока только день суда и ничего больше, — но день суда уже значил: залог вернётся. Убей Голодного — и его печать, всё то, что он когда-то забрал, выйдет из него само, тёплое, живое, с памятью донора внутри. Пересади — и память станет твоей.

Цена известна. Цена принята.

Правило третье у него не было. Он уже не один месяц подумывал завести. Может, завтра.

Он остановился. Правых кистей счёт продолжался без него — так они и работали, маятники, отбитые у кузницы, — и счёт этот вычленил из тишины то, ради чего он остановился: сверху, сквозь толщу камня, сквозь дверь люка, донеслись голоса. Удар. Женский голос, сказавший «змея» — слово, которое Весса Доун произносила легко, азартно, так произносят слово, которое уже успело сработать.

Кайр стоял и слушал. Новый слух — восемьдесят летний, подарок Хозяйки Утроб, отнятый у него в колыбели и восемьдесят лет носившийся в утробе дома, — раскладывал звуки сверху, как раскладывают смешанную монету. Голоса: четверо гаваньских, по выговору и по весу шагов. Удары: один, два, три. После третьего женский голос перестал возмущаться. После четвёртого перестал быть голосом и стал звуком.

Три удара — ритуальное число. Два — случайность. Три — работа.

Были правила. Правило первое: дело важнее. Хозяйка Утроб — третья печать из тех, что он нёс в счёте, залог дома Вейл, слух, отнятый у него в колыбели; без слуха, снятого у неё, он не услышит следующую, четвёртую, — а счёт должен идти до восьми. Правило второе: не вмешивайся. Нижний город режет сам себя каждую ночь, и это не его ночи. Он стоял на ступенях, и правила стояли с ним, как стоят у ямы все правила — до тех пор, пока не придётся выбирать.

Он подумал о воровке. О вранье ровным голосом. О слове «жив», сказанном с белыми костяшками пальцев. О том, что люди, которые платят надеждой за компанию, умирают бодрее, чем те, кто платит один.

Правило третье, — подумал он, разворачиваясь и поднимаясь обратно, по своим же следам, к люку, — у меня нет. Может, поэтому и жив.

Люк открылся легко — снаружи на него смотрели четыре пары глаз и одна дубина. Гаваньщики не ждали, что люк откроется: видно по тому, как они дёрнулись все разом, как стая, — у людей, ждущих засады, всегда такое движение, согнанное, косящееся. Они увидели его и не поверили. Он увидел их и поверил сразу — правые кисти уже сосчитали: четверо, один у двери, двое с ножами, дубина у четвёртого, и за ними, у самого люка, девушка с разбитыми губами, держащая в руке его собственный клинок — неумело, как держат то, что не привыкли держать.

— Охотник, — выдохнула змея, и сделала единственное умное за вечер: попятилась.

Кайр поднялся из люка. Капюшон съехал набок — он не поправлял: на свет фонаря у ворот легла левая половина лица. Он знал, как выглядит сбоку, снизу, в темноте: кожа тоньше, чем надо, шрам от виска к челюсти, тёмный шов за ухом, где когда-то очень умелый человек пришивал то, что не принадлежало ему. Правый глаз — живой, серый, зимнее поле. Левый — тоже серый, но в нём не отражался фонарь. Он давно привык, что глаза у людей спрашивают сначала про левую половину, и отвечал на этот вопрос одинаково: никак. Смотреть дальше.

Двое других решили иначе. Люди редко верят глазам, если глаза говорят неудобное; они верят рукам, а руки говорили: четверо, один, дубина. Кайр вышел из-под замаха, не уклоняясь — просто оказался в другом месте, экономно, без лишнего шага, как перемещается то, что привыкло, что любой шаг стоит жизни, — и ударил один раз. Тот, с дубиной, согнулся и сел, удивлённо глядя на собственное дыхание: удар пришёлся в солнечное сплетение, точно, как бьют по заслонке печки, и воздух вышел из него всем сразу. Второй успел вынуть нож. Кайр сломал ему запястье двумя пальцами — экономно, без злости, как ломают сухую ветку; злость — дорогой ресурс, Кайр берёт её на тех, кто ниже, на Голодных, на ямы. На гаваньских мясников злость была расходом не по счёту.

Змея убежала. Четвёртый — тот, что держал за капюшон девушку, — толкнул её вперёд себя, как щит, и выхватил нож.

Девушка полетела на Кайра — лёгкая, воровская, локти-удочки-крючки, та самая, что двадцать минут назад спрашивала про судьбу. Она должна была упасть, испугаться, закричать. Вместо этого она, не касаясь земли, сделала из падения пружину — он видел это движение:

тренированное, воровское, ученое, но с талантом, который не учат, — проскользнула у него под левой рукой, там, где плохо сгибался локоть, место, которое знал он один и которое, по идее, не должна была знать она, выхватила из его ножен землемерский клинок, воткнувший ею же в щель минуту назад — вот ведь мелкая, рука быстрее глаз, — и метнула его не в гаванщика.

В дубину.

Дубина, замахнувшаяся над её головой, с глухим стуком выпала из пальцев и упала на ноги владельцу. Владелец скулил, прижимая ногу. Девушка стояла между Кайром и остальными, переводя дыхание, с волосами, свалившимися на глаза, и сказала первое, что пришло ей в голову, что было, по совпадению, первое, что пришло в голову Кайру:

— Ну что, — сказала она, — помогать мне будешь?

Кайр оценил. Дубина пошла бы в висок — он слышал замах раньше, чем увидел. Она думала, что метит в нападавшего. Ошиблась на дюйм. Вернее, на линию: линия от её кисти к дубине проходила на волосок от его виска, и вся эта конструкция — замах, пружина, брошенный клинок — держалась на том, что воровка в падении не дрогнула рукой. Дрогнул — и дубина легла бы ей же в висок. Она не дрогнула.

Он не любил долги. Особенно незапланированные: долг по счёту он гасил у ям, а вот долги, возникшие вне счёта, висели, как висят все неучтённые вещи, — мешают, отвлекают, портят ритм.

Гаванщики ушли, унося скулящего. Док опустел; за воротами дока, на улице, шёл обычный вечер нижнего города — кто-то кричал про селёдку, кто-то пел. Девушка выпрямилась, оценила его взглядом — от шрамов к перчатке, с которой сбежалась нить, к люку, откуда тянуло медом, — и Кайр увидел, как в этом взгляде происходит то, что происходило у всех: первая секунда — страх, вторая — цена. У неё вторая секунда оказалась воровской: цена, которую собираются назвать сами, до того, как назовут ей.

— Весса Доун, — представилась она, поправляя волосы. — Воровка. Ты, я слышала, — охотник. Веришь ли ты, гражданин, в судьбу?

— Нет, — сказал Кайр.

— А зря. Потому что судьба у нас с тобой на десерт. — Она указала клинком вниз, в люк. — Ты туда. За ней. За той, которую нижний город называет Хозяйкой и боится называть Утробой. Я знаю тайные ходы — все ходы этого города, каждый чёртов кирпич. А ты знаешь, как снимать печати. — Пауза. Глаза — карие, живые, с азартом ставок, которые нельзя проиграть. — Сделка: я провожу тебя к ней так, что она не услышит, как мы пришли. А ты, когда вернёшь себе... — она обвела рукой его собранную половину, — всё, что твоё... поможешь мне с одним делом.

— Каким?

— Моим братом, — сказала Весса Доун легко, по-новгородски легко, и только костяшки пальцев, сжимавших рукоять клинка, побелели. — Его увели к Колодцу тринадцать лет назад. Я знаю, что он жив. Хочу его вернуть.

Кайр смотрел на неё долго. Восемьдесят лет Договору он знал три вещи насчёт Колодцев, и все три были из первого ряда правил, выше которых ничего не стояло: что забранные не возвращаются; что надежда — самый дорогой яд из всех; и что люди, которые платят этим ядом за компанию, умирают бодрее, чем те, кто платит один. Он не знал, зачем знает третье. Он знал.

Вот оно. Самый дорогой яд, самозаложённый. Он видел такое: у ям, в дороге, в глазах тех, кого Голодные оставили целыми, но забрали кого-то рядом. Такие люди не лечатся — они воют. Воют дольше, чем живут обычные люди, и умирают, как правило, внизу, куда уходят воевать.

Он мог сказать «нет». Он умел говорить «нет» — у ям он говорил его Голодным, и они слушались. Он посмотрел на её руку — на костяшки пальцев, белые на рукояти его клинка,

— и подумал, что она держит клинок как держат то, чего боятся отпустить, и что тринадцать лет — срок, за который тупеет любой нож.

Правило третье у меня нет, — напомнил он себе и подумал, что, может, стоит завести. Может, завтра.

— Условие, — сказал он. — Если я скажу «беги» — бежишь. Не споришь, не оглядываешься, не возвращаешься за мной. Бежишь.

— А если я не побегу?

— Тогда ты умрёшь, — сказал он ровно, как говорят «идёт дождь», — а твой брат так и останется за Колодцом. Это тот единственный аргумент, на который ты купишься. Я проверил. Держи его крепче.

Она открыла рот — азартно, сразу, как открывают рот люди, у которых на любое условие есть встречное, — и закрыла. Подумала. Это было ново: он привык, что воровка отвечает раньше, чем думает, а тут она подумала, и подумала, похоже, всерьёз, потому что когда заговорила, голос у неё был другой: не сладкий, воровской, а простой.

— Принято, — сказала она. — Но у меня встречное. Если скажу «беги» я — ты тоже бежишь. Без «я печник, я должен», без героики. Бежишь. Потому что ты мне нужен живой — иначе сделка не работает, а я, между прочим, серьёзный партнёр.

Кайр смотрел на неё. Потом — коротко, криво, левым уголком рта, который был собран из чужого и поэтому улыбался с опозданием, — улыбнулся.

— Принято, — сказал он. — Идём.

И он первым спустился в темноту, к тёплому меду. На ступенях, в темноте, без свидетелей, он позволил себе то, чего не позволял при ней: остановился на три удара сердца и слушал сверху — как она, не зажигая света, находит первую ступень ощупью, как её сердце, частое, азартное, идёт за ним вниз по спирали, как город над ними гудит своей обычной ночной песней, в которой он теперь, с восемнадцати лет, различал всё.

Он знал, что за ним идёт чужая смерть. Он знал, что любая надежда, которую он не отобьёт у неё до ямы, дойдёт до ямы и вырастет там, как растёт в темноте всё, чему дали тепло. Он не знал — и это было ново, а всё новое он считал опасным, — почему три секунды назад, когда она говорила про брата, он смотрел не на её глаза, а на её грудь, где под воровской курткой билось сердце, и считал его удары.

Спуск занял полчаса, и за полчаса Весса Доун задала одиннадцать вопросов.

На первый десяток Кайр отвечал так, как отвечал всем: коротко, по-деловому, в цифрах, если цифра существовала. Сколько ему лет — двадцать восемь. Сколько он охотится — тринадцать, с половиной. Сколько Голодных снял — два, Хозяйка будет третьей. Что такое Голодные — восемь имён, не толпа: Хозяйка Утроб, Вдовый Плач, Тот-Кто-Помнит, Кузнец Безлицых, Дитя Полуночи, Кормилица, Шепчущий Корень, Безымянный. Каждый — печать одного дома, каждый — арена, каждый — кусок тела, которого у Кайра не было. На одиннадцатый вопрос он ответил не сразу.

Она спросила: «А ты кто такой, что тебя разобрали на восемь кусков и не съели?»

Спираль внизу кончалась; медовое тепло стояло в воздухе плотно, и правые кисти Кайра считали его, как считают жар у печки — и жар этот был большой, старый, и он слушал. Кайр остановился на ступенях, и Весса, не ожидая остановки, села ему на пятки — воровское воспитание: если идущий впереди встал, причиня всегда внизу.

— Не знаю, — сказал он наконец.

— Не знаешь, кто ты? — Весса фыркнула. — Гражданин, я воровка. Я вижу фальшь по локтям. Ты говорил про каждого из восьми поимённо, с адресами. Про себя — «не знаю». Это не фальшь. Это...

— Дыра, — закончил он. — У меня их много. Ты увидишь ещё.

Она не стала спрашивать дальше. Он услышал — по сердцу, девяносто ударов, — что она хотела, и отвернулся, и пошёл дальше, и они шли молча целых две минуты, что у Вессы Доун равнялось, по наблюдениям Кайра, примерно четырём попыткам заговорить.

Пятая попытка удалась:

— А чем пахнет? Внизу.

— Воском. Мёдом. Родами.

— Родами? — она подавилась. — Это как?

— Как мёд, только теплее. — Он не обернулся. — Хозяйка Утроб — родильный дом. Всё, что я скажу про неё, ты забудешь до времени. Но запомни одно: внутри не зеркалься. Не смотри в тёплые вещи подолгу. Не отзывайся, если позовут твоим именем — она будет звать. И если я скажу «беги»...

— Бегу. Принято уже. — Она помолчала, и голос у неё стал простым, без азарта, того самого, которым она говорила про брата. — Печник. А ты веришь, что забранные не возвращаются? Ты сам-то веришь, или это у тебя как у воровки — работа такая, правило первое?

Кайр шёл по ступеням, и медовое тепло поднималось ему навстречу, и он думал о том, что за тринадцать лет охоты ему не задавал этого вопроса никто. Все спрашивали про Голодных, про печати, про то, больно ли пересаживать чужие куски. Никто не спрашивал, верит ли он.

— Верю, — сказал он. — Поэтому и иду. Если бы не верил — сидел бы у какой-нибудь печки.

— У тебя вместо сердца печь, что ли? — спросила она тихо.

Кайр остановился так резко, что она второй раз села ему на пятки. Он не обернулся. Левый глаз — чужой, вычеркнутого дома, — вспыхнул в темноте рыжим жаром, как жар под золой, и Весса, в первый раз за вечер, испугалась по-настоящему: не тьмы, не ямы, не охотника — испугалась, что спросила лишнего.

— Ты что-то знаешь, — сказал Кайр. Не вопрос.

— Я воровка, — сказала она дрожащим голосом. — Я всё знаю. Я знаю, что у нижнего города вместо сердца — касса. А у тебя вместо сердца — печь. Я три часа иду с тобой рядом и чувствую тепло. Ты как ходячая печка, печник. Я пошутила. Шутки — это моя работа. Я ими плачу.

Он молчал долго. Потом пошёл дальше, и она, отдуваясь, поплелась следом, и разговор, казалось, утонул в медовом тепле. Но на самой нижней ступени, там, где спираль упиралась в старую каменную плиту без надписи, Кайр вдруг сказал — не оборачиваясь, шёпотом, как говорят то, что не собирались говорить:

— Печь не вместо сердца. Печь вместо всего, чего не стало. Сердце отдельно.

— Где отдельно? — спросила она, забыв, что обещала не спрашивать лишнего.

— Не знаю, — сказал Кайр. — Это самая большая дыра. Иди за мной.

Он снял перчатку с левой руки, положил ладонь на плиту, и плита подалась легко, податливо, как подаётся то, что ждало. Из щели вырвался тёплый воздух, густой, сладкий, и в нём — звук. Не шум. Дыхание. Медленное, глубокое, чужое, и от каждого вдоха по ступеням шла рябь тепла.

Весса достала нож брата. Клинок был тупой — она не точила его тринадцать лет, не давала оружейникам, не доверяла; она знала, что это суеверие, и суеверно не точила.

— Я пойду первой, — сказала она.

— Нет, — сказал Кайр мягко, и это «нет» было первым, что он сказал мягко за всю дорогу. — Первым иду я. Печники заходят в печь первыми. — Пауза. — И ещё, воровка. Если я скажу «беги» — ты бежишь. Не споришь, не оглядываешься, не возвращаешься за мной. Бежишь.

— А если я не побегу?

И он пошёл вниз, в тепло, в дыхание, в мед.

Весса смотрела ему вслед и понимала — с тем холодным азартом, который был у неё вместо мужества, — что сделка только что заключилась по-настоящему. Не словами. Тем, что он запомнил про брата. Тем, что она не побежала сразу, как советовал здравый смысл, голос клана и все её правила, от первого до третьего.

Она спустилась за ним. Ступени под ногами были тёплые. Пахло воском. И далеко внизу — снизу, куда уходила лестница, — кто-то очень большой и очень старый вздохнул во сне.

Глава 3

«Ходы, которых нет на картах»

Тайные ходы Сольвейна пахли так, как пахнут все тайные ходы всех городов мира: мышами, ржавчиной и чужими секретами.

Весса шла первой — она и вела, она и предлагала: «Ты за мной, не наступай мне на пятки, и если я поднимаю два пальца — замираешь, дышишь ртом и молишься беззвучно». Кайр шёл за ней и не молился. Кайр вообще делал вид, что не слышит её болтовни, но Весса за годы практики научилась отличать настоящую глухоту от глухоты дипломатической: дипломатическая прижимает плечо чуть ниже, а у Кайра плечо прижималось ровно так.

Они шли по коллектору — рукаву старого города, ещё додоговорного, ещё до того, как Сольвейн решил, что он город, а не поселение у соли. Кирпичный свод шёл вразброд, кладка здесь была трёхвековая, и местами свод подпирали деревянные стояки, прогнившие насквозь и стоящие по привычке. Потом поверх коллектора построили доки, и коллектор остался — как остаются все старые вещи в Империи: невидимыми, но несущими. Весса знала эти ходы с девяти лет. Девять лет она водила здесь «учебных» — сначала кукол, потом живых детей, потом, однажды...

Нет. Не сейчас. Кладка, кладка, считай кладку.

— Ты знаешь, что твоя левая рука дышит? — спросила она, не оборачиваясь.

— Знаю.

— И давно?

— Дольше, чем ты жива.

Весса присвистнула. Собственный свист прозвучал глухо — коллектор глушил, как глушат вата, и она, привыкшая к звуку собственной болтовни, впервые за вечер услышала его мёртвым: болтовня тонула в стенах. Она понизила голос сама, без его просьбы:

— И что, не жутко? — Жутко, — ответила она за него. — Ладно, не отвечай, я вижу по плечу, что не жутко. Ты из тех, кому жутко поздно.

Он не спорил. Они шли дальше, и Весса, которая мерила жизнь болтаньем, как мерят верёвку узлами, вдруг поймала себя на том, что болтает не как обычно. Обычно она болтала наперёд — заготовками, сдачей, отвлечением. Теперь она болтала в сторону него, и это было другое ремесло, незнакомое, и она делала его кривыми руками, как делают всё впервые.

— Вот здесь, — она остановилась и подняла два пальца.

Они замерли. Сквозь стену — а это была уже не стена, а переплет старой кладки — прошёл звук. Не звук даже, а отсутствие звука: Весса знала этот приём ещё с воровских лет, когда клан Доун держал «переправы» — ночные дороги от нижнего города к Колодцам, за деньги, за молчание, за всё. Там, за кладкой, кто-то стоял в тишине, которая бывает только у тех, кто сам себя слушает.

Она приложила палец к губам. Кайр и так не шумел. Он стоял вплотную к стене, и в темноте его левая половина была почти невидима — тёмная на тёмном, и только прожилки на кисти тлели, как жар под золой. Весса поймала себя на том, что считает его дыхания. Двадцать на счёт. Ровные. У человека, у которого украдено половина тела, дыхание не должно быть таким ровным. У человека вообще ничего не должно быть таким ровным, подумала она, и тут же отогнала мысль: ровное — это не её тема, её тема — кривое, кривое и краденое.

Дозорный за стеной прошёл дальше. Они двинулись.

— Ты задашь вопрос, — сказал Кайр вдруг. Первые его слова за полчаса.

— Какой?

— Про нож.

Весса помедлила. Нож лежал у неё за поясом, в ножнах из промасленной кожи, и она за эти сутки трижды проверяла, на месте ли он, — автоматически, как проверяют языком скол на зубе.

— Как ты...

— Ты трогаешь его каждые триста шагов. — Он пожал плечом — жест в темноте, увиденный, а не услышанный. — Спрашивай или не спрашивай. Но трогать — не отвечать.

— Младший брат, — сказала Весса. — Триш. Клинок его. — И потому что паузы были для неё хуже любых слов: — Он на юге. На службе. Шлёт деньги, когда может, я шлю весточки, когда не лень. Вот и всё.

Она сказала это ровно, складно, по-настоящему — и именно поэтому Кайр, видимо, и не ответил ничего. Ложь, сказанная хорошо, не требует ответа. Она требует тишины, чтобы лечь на место.

Ложь легла на место. Весса почувствовала, как за спиной, там, где тринадцать лет назад она стояла в круге клана и смотрела, как маленького Триша ведут по этой самой дороге — не по этой, по параллельной, все они параллельные, кладка, кладка, считай кладку, — как что-то внутри неё сделало вид, что поверило.

Нож за поясом был холодный. Она купила ему этот нож на третий день рождения, отдала последние две недели сбережений, выторговала у оружейника с Оружейного переулка — старого, слепого на один глаз, который спрашивал: «Кому, девочка?» — а она отвечала: «Брату», и он кивал и не делал скидки, потому что «брату» у оружейника было в прайсе отдельной строкой: без скидки, но с гравировкой. На лезвии, у рукояти, он выгравировал три рыбы — знак дома Доун, слабый, воровской, и Триш был выше пояса уже на полголовы, гордый, как петух, и резал им всё подряд — верёвки, яблоки, свои собственные шнурки.

Через месяц клан решил «платить долг». Чужой долг, конечно: клан Доун всегда платил чужие долги — так выгоднее. Чужой ребёнок в приёмном доме, чужая жена в чужом доме Вейл, чужой страх — а клан получал серебро и право дышать спокойно ещё на год.

Триша выбрали, потому что Триш был удобный. Потому что Весса сама записала его в книгу «переправ» — сначала отказывалась, потом согласилась, потому что отказываться второй раз в клане Доун не принято: второй отказ — это уже характер, а характер — это уже конкурент.

Она вела его за руку. Она помнила, как он шёл рядом и рассказывал про корабль, который видел у причала, про трёхмачтовый, — маленький болтун, он всегда был болтуном, она, кажется, забрала всё его болтанье себе, после.

У Колодца — того самого, что под сухим доком, что теперь запечатан и засыпан, а тогда открывался раз в год, в первый мороз, — ждала жрица в жёлтом. Весса передала Триша жрице. Получила квитанцию. Вернулась домой до рассвета, как и обещала.

Вот и всё, сказала она себе. Простая история.

И всё же — она никогда не рассказывала её целиком даже себе, и теперь, в тёплом медовом мраке под чужим городом, рассказала. Может быть, потому что он молчал, а молчание у него было такое, что под ним прячутся, как под зонтом.

В тот вечер был первый мороз. Она помнила это, потому что Триш дышал облачками и говорил, что вот, Весс, смотри, я паровоз. Он шёл рядом и не шёл — семилетние дети не идут, они скачут, подпрыгивают, касаются каждой стены, и она вела его так, как учила методичка: держала за руку выше локтя и болтала. Про корабль. Про трёхмачтовый бриг у причала — он

видел его два дня назад, рассказывал всем подряд, какой он большой, и она болтала про него снова, чтобы он не думал.

Он остановился у поворота — там, где коллектор выходит к лестнице под сухой док, и сказал то, что она проглотила потом тринадцать лет:

— Весс. А почему ночью?

— Потому что ночью дорога короче, — сказала она. Заготовка. Из методички.

— А почему ты держишь меня крепко?

— Потому что скользко. Заготовка.

— А где мама?

И вот тут заготовок не было. Методичка кончалась. Мама списывала его сама — Весса видела её руку в книге переправ, ровную, чиновничью, одной строкой: «Триш Доун, семь лет, осень» — и подпись, и квитанционный отрыв, который Весса получила у жрицы и с тех пор носила на шее, на шнурке, тринадцать лет, пока вчера не сожгла.

— Мама ждёт у мамки в жёлтом, — сказала она. — Пошли, Триш. Там тепло.

Он пошёл. Дети верят, потому что верить — это тепло, а дети идут на тепло, как идут на свет. У жёлтого камня жрица приняла его молча, взяла за руку — и на одну секунду, одну, Весса увидела её глаза поверх капюшона: старые, вежливые, уставшие, как глаза человека, который принимает посылки всю жизнь и ни разу не видел отправителя.

— Квитанция, — сказала жрица, и оторвала полоску бумаги.

— Принято, — сказала Весса. Воровское «принято», кассовое, её собственное.

И они пошли по ступеням вверх, а он, у самой ямы, обернулся. Один раз. Посмотрел туда, где за поворотом стояла сестра, которую он не видел, и помахал. Маленькой рукой, широко, как машут с кораблей.

Она не машет в ответ. Она стоит в темноте и держит квитанцию двумя пальцами, как держат то, что жгут, — потом. Она ждала тринадцать лет, чтобы сжечь её, и вчера сожгла.

Печник идёт впереди, и она идёт следом, и медовое дыхание внизу дышит в такт её шагам — и нет, не в такт. Такт у неё быстрый, воровской, а дыхание медленное, материнское. Оно дышит на два удара медленнее, и её сердце, послушное, как сердце у женщины, которая всю жизнь шла на чужие звуки, подстраивается. Она ловит себя на этом и злится: не время, не место, не человек — и всё же идёт, подстроившись, как шла тринадцать лет назад, на «мамка в жёлтом».

Лежала ровно, как уложенная монета.

— Ложь ложится ровно, — сказал Кайр вдруг, будто читал мысли.

— Прости?

— Ложь ложится ровно. — Он не оборачивался, шёл впереди теперь он, и она заметила, что он выбирает путь без её подсказок — знал он эти ходы сам, знал спиной, вслепую, левой рукой. — Правда ложится криво. У неё края. По краям видно.

— У тебя вместо сердца печь, что ли? — огрызнулась Весса. — Кто тебя собирал, такого учтивого?

— Никто, — сказал Кайр. — Поэтому и учтивый.

Они шли дальше, и Весса, пока молчал он, говорила за двоих — она умела: болтовня текла сама, как течёт вода по желобу, и не разбирала, куда несёт.

Она болтала про Сольвейн — про три холма, про то, что верхний думает, что он держит два нижних, а на самом деле два нижних держат верхний, потому что кто крадёт у порта, тот и кормит город. Про капитана Гриффа, который спорил с вдовой из-за наследства и проиграл, потому что вдова была хитрее и живая. Про то, что селёдка в этом году хуже прошлогодней, а гаванышки всё равно дерут за неё как за золото. Про дядю Кольта, который хранит кассу, как дракон, только драконы хоть дышат на монеты.

Кайр шёл и молчал, и от молчания его Весса, вместо того чтобы замолчать сама, разговаривалась сильнее — так действует страх, знакомый всякому вору: чем страшнее кладка, тем громче болтовня, чтобы кладка не слышала сердца.

А потом болтовня — та самая, тренированная, воровская, автоматическая — вдруг привела её туда, куда она не собиралась. Она заговорила о клане.

— Переправы — это, между прочим, искусство, — сказала она. — Не всякий может ребёнка провести через полгорода, чтобы он не заплакал, не сбежал, не запомнил лица. У нас учили с девяти лет. Сначала кукол. Куклы не плачут. Потом — малых, до пяти лет, они ещё верят, что это игра. Потом — старших, и вот тут, гражданин, начинается работа: старшие понимают. Старшие идут и знают, куда идут. Старших водят не рукой — словом. Ты болтаешь им всю дорогу про корабли, про ярмарки, про то, что за поворотом тёплый дом и мамка в жёлтом ждёт с кашей...

Она осеклась. Очень резко, посреди фразы, как обрывается верёвка.

Кайр остановился. Не обернулся — остановился, и это было хуже оборота: он слушал.

— Мамка в жёлтом, — повторила Весса тихо. — Я всегда так говорила. Тринадцать лет. Заготовка такая. — Она засмеялась — звук пошёл по коллектору и умер. — Знаешь, что смешного, печник? У Колодца нет мамок. Там жрицы. А жрицы в жёлтом. Я знала. Я всегда знала. И всё равно говорила «мамка в жёлтом», потому что ребёнок идёт охотнее к мамке, чем к жрице. Это из методички клана. Буквально. У нас была методичка, переписанная трижды, с пометками. Как водить детей.

Она замолчала. В темноте шли они теперь рядом, потому что коллектор сузился, и плечо её касалось его плаща, тёплого, как всё на нём.

— Ты когда-нибудь вёл? — спросила она вдруг.

— Вёл.

— Кого?

— Себя.

Она не поняла и не стала переспрашивать. А он, после паузы, сказал то, что не собирался, — она уже начинала это узнавать: его непрошенные слова всегда приходили после пауз, как приходят счета:

— Я помню дорогу. Я нёсся по ней — не ногами, понимаешь. Меня несли. А я помню. Каждый поворот, каждую ступень. Восемьдесят лет помню, хотя мне тогда было четыре дня. Дорогу запоминают не глаза, воровка. Дорогу запоминают, когда её идёшь в последний раз.

— И часто ты её вспоминаешь? — спросила она осторожно.

— Каждую ночь. Считаю ступени, чтобы уснуть. Не помогает.

Она хотела сказать что-нибудь лёгкое — рука её сама потянулась к заготовке, к сдаче — и не нашла. Кладка, кладка, считай кладку, а кладка кончилась: они вышли в просторную шахту, где коллектор раздваивался. одна ветвь уходила под гавань, вторая — вверх, под скалу, под родильный дом Вейлов. Между ветвями, в нише, стояла старая каменная плита без надписи. Весса остановилась. Здесь она ни разу не была — а знала про это место, как знала про все места, в которых не была: по слухам, по схемам клана, по чужим догадкам.

— За плитой — лестница. Лестница — в родильные покои. — Она опустила голос. — Ходят, под плитой ступени пропитаны. Чем — не говорят.

— Воском, — сказал Кайр.

— Откуда...

— Медом и воском. — Он снял перчатку с левой руки, и в темноте тёмная кисть вспыхнула теплом — буквально: по прожилкам пошёл рыжий свет, слабый, как жар углей под золой. — Хозяйка Утроб держит свои печати в тепле. Колодец знает. Запах кузни ведёт её дочерей.

— Кузни? — переспросила Весса. — Ты говоришь о ней, как о печнике.

— Она и есть печник. — Кайр встал к плите, уперся ладонью. — И я тоже.

Плита подалась легко, податливо, как будто ждала. Из щели вырвался тёплый воздух, густой, сладкий, и в нём — звук. Не шум. Дыхание. Медленное, глубокое, чужое, и от каждого вдоха по ступеням шла рябь тепла.

— А если я не побегу?

И на самой нижней ступени, где лестница упиралась в пол подземелья, Весса вдруг спросила — тихо, не обращаясь к нему, как спрашивают темноту:

— Триш. Ты слышал это имя когда-нибудь? Внизу, у ям?

Кайр долго молчал. Дыхание Хозяйки шло по ступеням рябью.

— Слышал много имён, — сказал он наконец. — Не помню все. Спросишь у ямы. Ямы помнят лучше меня.

— А если она не ответит?

— Тогда спросишь у меня снова. Я хожу к ним все. Однажды я услышу. — Он обернулся, и левый глаз светился рыжим, и голос его, кованный, впервые дрогнул. — Это единственное, что я умею обещать. Я хожу и слушаю. Восемьдесят лет я учился слушать.

Весса кивнула в темноте. Он не увидел кивка — и, кажется, услышал.

Глава 4

«Печник у дверей печи»

Лестница кончалась там, где кончаются все лестницы в этой истории: у двери. Дверь была двустворчатая, медная, покрытая тёмной плёнкой — не ржавчиной: воском. Воск стекал по меди рядами, застывал, стекал снова, и слои его насчитывали больше лет, чем жил бы человек, если бы человеку давали жить подольше. Кайр стоял перед дверью и не трогал её, и Весса, привыкшая к тому, что он всё трогает ладонью, как другие трогают ключом, поняла: перед этой дверью он постоит сколько надо.

За медью дышало. Вдох — и вся площадка подземелья разогревалась, как печная заслонка. Выдох — и тепло уходило куда-то вверх, под скалу, туда, где когда-то рожали жёны Вейлов, а теперь только помнили об этом.

— Правила, — сказал Кайр негромко. Не ей — себе. Так он делал всегда перед снятием: собирал себя по кускам, как собирают инструмент, — и Весса, которая час назад думала, что он не молится, поняла, что это и есть его молитва, только с цифрами.

— Правило первое, — сказал он. — Печать снимается только у Колодца. Значит, её нельзя взять здесь — можно только отнять у Хозяйки её залог и выйти с ним к яме. Значит, бой будет не здесь, а внутри, и выход — через неё же. Значит, кто думает, что дело в силе, тот уже проиграл: дело в дороге. Дорога от её груди до ямы — вот вся охота.

— Правило второе, — сказал он. — Умиравший Голодный отдаёт орган. — Он замолчал, и Весса поняла, что за этой фразой у него стоит что-то своё, не из методички: он вспоминал. — Я знаю это по двум первым. Убей Голодного — и его печать выйдет сама, тёплая, живая, с памятью донора внутри. Пересади — и память станет твоей. Цена известна. Цена принята.

Он поднял левую руку и посмотрел на неё, как смотрят на старого должника.

— У меня внутри уже живут чужие. Голос — чужой, потому что связки чужие. Тепло — чужое, потому что кисть жарится, как чужая угли. Сон — чужой, потому что каждую ночь кто-то чужой во сне доигрывает свою жизнь до конца. Я знаю, что такое проснуться с чужим именем на губах. Я научился не отвечать на него. — Пауза. — Если я не выйду отсюда с третьей печатью, не выносите меня. Оставьте у ямы. Яма честнее города.

Весса хотела сказать что-нибудь лёгкое — рука потянулась к заготовке — и не нашла ни одной. Она впервые за вечер поняла, что у неё нет болтовни на этот вес. И тогда она сказала первое, что пришло, без заготовки:

— Выйдешь. Я провожу — значит, выйдешь. Я дорогу знаю.

Он посмотрел на неё — оба глаза, и левый, неотражающий фонарь, и правый, зимнее поле, — и кивнул, и она вдруг сообразила, что это был первый раз, когда он кивнул ей, а не своим правилам.

— Слушай меня, — сказал он. — Одно слово: «вниз». Услышишь — падаешь на пол, лицом вниз, руки за голову. Оно будет не от меня.

— От кого же?

— От стен. — Он наконец обернулся. Левый глаз в темноте светился слабо, рыжим, как угли. — Хозяйка Утроб — дом. Дома говорят стенами. Ты слышала дыхание — значит, она уже знает, что мы у двери. Она ждёт. Ей всё равно, кто войдёт: роженица, жрица, печник. Дом должен принять.

— А ты кто? — спросила Весса. Спросила и тут же, азарт: — Не отвечай. Пустяки. Я знаю, кто ты. Ты — тот, кто платит за всех, а потом ходит и собирает сдачу.

Кайр смотрел на неё секунду. Потом — впервые за эти сутки — усмехнулся. Коротко, криво, левым уголком рта, который был собран из чужого.

— Почти, — сказал он. — Я тот, кто за всех заплатил. Сдачу не собираю. Тело собираю. Он положил левую ладонь на медь.

Весса слушала его правила и думала, что правила у него — как узлы: тугие, одинаковые, и каждый завязан на что-то тяжёлое. Она ждала, пока он кончит, и спросила то, что не давало ей покоя с «Трёх якорей»:

— погоди. Ты говоришь — отнять у неё залог. А потом — к яме, снять печать. А что будет, если ты отнимешь залог и не донесёшь? Если\... если она тебя\...

— Если она меня съест окончательно? — Кайр пожал плечом. — Тогда залог уснёт в ней дальше. Печати так устроены: они тянутся к своему месту. Восемьдесят лет мой слух тянулся ко мне из её груди — я слышал это каждую ночь, тринадцать лет, с того дня, как встал на охоту. Тоска по своему месту — вот что двигает этой историей, воровка. Не я. Не боги. Тоска кусков по целому.

— А яма — что, целое?

— Яма — это книга. — Он погладил воск на двери, как поглаживают корешок. — Колодец записал, что у кого взял. Снять печать — значит переписать строку обратно. Печать в груди Голодного — черновик. На жёлтом камне — чистовик. Всё.

— А если яма ошибётся? — спросила Весса тихо. — Если соскользнёт, как ты говорил про свой дом?

Он молчал так долго, что она решила: не ответит. А он ответил — и ответ его был самым тихим за ночь:

— Тогда что-то остаётся дышать. Я — осталось. — Он положил ладонь на дверь, и воск под ладонью вспотел. — Больше я ни про кого не слышал, кто оставался. Восемьдесят лет хожу и спрашиваю ямы: кто ещё остался. Ямы молчат. Ямы умеют молчать лучше людей. — Пауза. — Но недавно я начал слышать. В Альде, у Того-Кто-Помнит, будет строка про второе такое место. К востоку. Что-то дышит под Колодцами — то, что должны были забрать целиком и не забрали. Дышит чаще, чем я. Я не знаю, чьё оно. Я хожу и слушаю.

Весса хотела спросить — и не стала. Впервые за ночь ей стало ясно, что его молчания дороже её болтовни, и что некоторые вопросы, заданные вовремя, стоят больше ответов, сказанных не вовремя. Она запомнила: восток, второе дышащее место, чаще, чем он. И пошла за ним, когда он пошёл — и не знала, что запомнит это дольше, чем что-либо.

Воск под рукой вспотел, задымился, и дверь — без скрипа, без усилия, по-скрипуче покорно — открылась внутрь.

Родильные покои Вейлов не были залом, зверинцем, гнездом или любой другой вещью, которую нижний город рисовал себе в темноте. Это была большая круглая палата, как перевернутая чаша, а в чаше — лежанки. Десятки лежанок, каменных, выширенных телами, и в

каждой лежанке — тепло. Пустые лежанки были тёплые, как будто встали недавно. Купола были заставлены воском — не свечами: потёками, каплями, следами, оставленными чем-то, что ходило по стенам и капало. Пахло — Весса носом не поверила бы, а носом пришлось: как в бане после родов, сказала бы любая бабка, если бы бабки бывали в таких местах.

И в центре, под самым куполом, на камне, лежало что-то, на что Кайр смотрел ровно один вдох, а Весса — не смотрела вовсе, потому что увидела плащ на крюке у входа. Детский. Маленький, выцветший, висевший там, где плащи вешают на выросты, — пустой, и тёплый от тепла стен.

От двери до палаты вела галерея, и галерея эта была по длине с пол-Сольвейна.

Они шли по ней вдвоём — теперь уже она шла за ним, потому что он знал дорогу, а она знала только схемы, а схемы, как выяснилось, лгали: на схемах клана эта галерея была нарисована пунктиром и подписана «не проверено». Галерея петляла, сужалась, раздавалась, и везде — воск. Воск капельками, воск ручейками, воск целыми глыбами, вмурованными в стены, как застывшие потоки; и в каждой глыбе, если присмотреться — Весса присматривалась, потому что воровка, не присматривающаяся, долго не воровка, — что-то темнело. Не тень. Вещь. В одной глыбе она разглядела гребешок. В другой — кольцо. В третьей, большой, у самого пола, — сабо маленькое, детское, с потёртым носом.

— Это что, — прошептала она, — сувениры?

— Взвесь, — сказал Кайр, не останавливаясь. — Всё, что оставляют роженицы, — волосы, зубы, браслеты, — Хозяйка проглатывает с теплом. Она не грабит. Она — дом: дом собирает. — Пауза. — Когда-нибудь яму переплавят, и найдут всё. Археологи любят ямы. Ямы — единственные честные музеи.

— Ты говоришь «ямы» так, — сказала она, — как другие говорят «дома».

— Я в них больше жил, чем в домах.

Он говорил это ровно, как говорят всё, к чему привыкли, и Весса, впервые за ночь, посчитала ему возраст вслух. Двадцать восемь лет он сказал ей у «Трёх якорей». Тринадцать — охота. А восемьдесят лет его слух носился в утробе дома. Она хотела спросить — и не стала. Некоторые цифры спрашивают только раз, и этот был такой.

Галерея вывела их на площадку над палатой — отсюда, сквозь решётчатую перекладину, всё было видно сразу, как видна сцена с галерки театра, и Кайр остановился здесь и стал говорить — тихо, быстро, вполголоса, как говорят то, что учат наизусть и впервые объясняют вслух.

— Слушай. У Хозяйки нет глаз и нет рук в нашем смысле. Она слышит — и рожает. Всё её тело — родовые пути. Она не будет бить тебя и не будет бить меня: она будет *принимать*. Тепло, вес, воздух — всё, чем живое существо давит на мир, она воспринимает как ребёнка. Чем дальше ты внутри — тем больше ты ей должен родить. Поэтому быстро. Поэтому я первый.

— А что мне делать? — спросила Весса.

— Жить громко. — Он обернулся, и она увидела, что он всё это время держал ладонь на прожилке своей кисти, и прожилка тлела, и она поняла: он проверял жар, как печник проверяет печь перед чужим хлебом. — Она привыкла к молчанию рожениц. Молчание — это её язык. А ты болтай. Болтай всё время, как ты умеешь, как болтаешь, когда боишься. Твоя болтовня — это не шум. Это помеха. Она слушает меня, а ты — лезь ей в ухо.

Весса смотрела на него. И вдруг — азарт, холодный, воровской, сменился чем-то другим: она поняла, что ей только что поручили работу. Не спрятаться, не сбежать, не быть щитом. Работу. Она кивнула — впервые за ночь не открыв рта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.